

женщины съ дѣтьми на узкихъ койкахъ спали съ чужими мужчинами. Ужасно было зрѣлище по нищетѣ, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которые были въ этомъ положеніи. Одна квартира и потомъ другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нѣтъ имъ конца. И вездѣ тотъ же смрадъ, та же духота, тѣснота, то же смѣшеніе половъ, тѣ же пьяные до одуренія мужчины и женщины, и тотъ же испугъ, покорность и виновность на всѣхъ лицахъ, и мнѣ стало опять совѣстно и больно какъ въ Ляпинскомъ домѣ, и я понималъ что то, что я затѣввалъ, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывалъ и не спрашивалъ, зная, что изъ этого ничего не выйдетъ“.

Что же могло произвести эту рѣзкую переменѣну во взглядѣ, отчего мысль, вполне естественная и понятная, хотя можетъ быть недостаточно практичная, начинаетъ казаться Л. Н. Толстому не только глупою, но даже гадкою?

Одна изъ главныхъ причинъ этой переменѣны состоитъ въ томъ, что до переписи гр. Толстой былъ знакомъ только съ деревенскою нуждой.

„Нужда же городская была и менѣе правдива, и болѣе требовательна, и болѣе жестока, чѣмъ нужда деревенская. Главное же, ея было въ одномъ мѣстѣ такъ много, что она произвела на меня ужасное впе-